
Андрей Дмитриевский
Бесконечность
8

Андрей Дмитриевский
Бесконечность 8

https://litres.ru/74711363
SelfPub; 2026

Аннотация

«Бесконечность 8» — тихая, холодная и беспощадная история о гении. О женщине, которая выбрала войну вместо любви. И о человеке, который умел только упаковывать чужие надежды. Ученый изобрел новый прибор, который обьединяет телескоп и микроскоп и назвал РАскоп - Ра это бог Египта, а также само Солнце, а скоп от двух скопов.

Содержание

Глава 1 4
Глава 2 9
Глава 3 27
Конец ознакомительного фрагмента. 54

Андрей Дмитриевский
Бесконечность 8

Глава 1

Озарение

Улица была пустой, как уравнение без решения. Ветер родился меж высоких гор, прокатился через бесконечные пустыни и теперь, будто растерявшись, гнал по асфальту всякий хлам. Разорванный пакет из сетевого магазина плыл по воздуху, как старая карта, на которой стёрлись все дороги. Реклама шиномонтажа, висевшая с начала осени, наконец сорвалась и трепетала на ветру, словно сдаваясь пустоте улицы.

А потом — листок. Белый. А5. Мятый, но не настолько, чтобы потерять смысл. На нём что-то было написано — рукой, не принтером, и почерк был такой, словно рука спешила быстрее, чем думала.

Чемоданов бежал. Ему было чуть больше пятидесяти, но он об этом не помнил. Сухощавый, будто собранный из острых углов: ключицы выступают, локти острые, кожа плотно обтягивает кости. Лицо изборождено морщинами, но в нём нет дряблости — только упрямая собранность. Длинный, чуть крючкова-

тый нос, впалые щёки, глаза глубоко посажены: в них то вспыхивает фанатичный огонь, то ложится усталая тень человека, который слишком много видел. Борода редкая, седоватая, небрежно подстриженная — не модный барбершоп-стайл, а просто «некогда».

Он был одет так, будто пытался быть рыцарем в мире худи и кроссовок. Длинное тёмное пальто, которое он носил как плащ, — на плече небольшая заплатка, которую он не замечал или не считал важной. Рубашка простая, слегка мятая, воротник расстёгнут, будто ему тесно в условностях. Брюки практичные, не новые, но аккуратные.

На запястье — простые механические часы. Не дорогие, без золота и усложнений. Потёртый ремешок, царапина на стекле, чёткие деления и тяжёлая секундная стрелка. В темноте цифры на циферблате светились зелёным светом — слабым, ровным, как светлячок в банке. Этот свет он заметил ещё в детстве, когда мама выключала свет в его комнате. Тогда он думал, что часы живые. Теперь знал: просто люминофор. Но привычка осталась — в темноте он всё равно смотрел на них, как на что-то живое.

Он теребил их не ради времени, а чтобы собраться с мыслями. Каждый раз, когда мир начинал рассыпаться на отдельные, не стыкующиеся друг с другом фрагменты — когда голоса в голове спорили гром-

че обычного, а формулы, ещё минуту назад казавшиеся безупречными, вдруг теряли смысл, — Икар опускал взгляд на циферблат. Стрелки шли ровно, секунда за секундой, без суеты и без оправданий. А в темноте цифры светились зелёным — тем же цветом, что и линия на осциллографе, и точка, которая иногда не гасла. В этом простом, предсказуемом движении было что-то надёжное, почти священное.

Об этом приёме ему однажды рассказал лечащий врач: «Когда станет слишком много, найди что-то, что движется по кругу. Пусть это будет просто стрелка. Смотри на неё, пока не почувствуешь, что снова стоишь на твёрдом». И приём работал. А это самое главное для Чемоданова — чтобы хоть что-то работало.

В кармане — записная книжка, куда он записывал свои мысли.

Колено левое — забыто. Подошва правого ботинка отклеилась и хлопала по асфальту, как аплодисменты без зрительного зала. Пиджак расстёгнут; из кармана торчала ручка — пустяк, недостойный орбит его идей. Но стоит ручке исчезнуть — и весь его хрупкий, как хрусталь, порядок рухнет в один миг.

Он не видел светофора. Не видел лужу. Не видел женщину с коляской, которая остановилась и посмотрела ему вслед с тем выражением — вроде и не совсем жалко, но не совсем нормально. Он видел листок. Ли-

сток летел неровно — взлетал, падал, цеплялся за асфальт и снова взлетал, — словно решал: остановиться или нет. И в какой-то момент Икару показалось, что ветер толкает листок не туда, куда дует, а к нему. Он не успел об этом подумать — просто отметил краем сознания, как отметил бы птицу, пролетевшую не в ту сторону. А потом забыл, потому что листок снова взлетел.

А Чемоданов не решал, он знал, что в этом листке находится его жизнь, как иголка Кощея в курином яйце. Они были похожи в этот момент: одинаковая зависимость от ветра, одинаковое нежелание останавливаться.

Ветер был единственным, кто здесь имел смысл. Чемоданов рванул вперёд и тут же споткнулся о бордюр. Падение казалось неизбежным, но он успел: двумя пальцами правой руки, длинными и жилистыми, с чернильным пятном, выхватил листок из воздуха. Это вышло изящно. Фотограф, окажись он рядом, не упустил бы кадр. Чемоданов стал похож на балерину — не в смысле лёгкости, а в смысле абсолютной собранности: от пальцев поднятой руки до пальцев ног тянулась одна натянутая струна. В этом мгновении не было суеты, только чистая, острая точность.

Он упал. Колено — сначала. Потом ладонь. Потом — подбородок. Но листок был в руке. Он лежал на

мокром асфальте, прижимая к груди мятую бумагу, и улыбался. Тихо. Ему было тепло на душе, как тогда, в детстве, когда обнимала его мама и он чувствовал себя как в подземном бункере. Отца он не знал. И никогда не думал об этом. Мамы хватало.

Он перевернулся на бок. Посмотрел на часы. Секундная стрелка ползла вперёд — ровно, спокойно, без оправданий. Он смотрел на неё, пока дыхание не выровнялось. Потом встал.

На листке было написано от руки, синей ручкой, с подчёркиваниями и стрелками:

«r = 0,529 × 10^1 м. Радиус Бора. Земля — электрон. О — каркас. Проверить резонансный сдвиг».

А ниже, другим цветом — красным, словно вторая мысль врывалась поверх первой:

«Они не видят масштаб. Они видят масштаб. Почему они не видят, это же элементарно».

Чемоданов встал. Отряхнул колено. Кровь — есть, но на сегодня не важно. Сегодня важно другое: он прав. Он знал, что прав. Знал так же, как знают, что рука — твоя: это не доказательство, это факт, который нельзя оспорить. Ну всё, теперь можно и к себе, туда, где всё понятно, потому как он там властелин и там только его законы. В гараж.

Глава 2

Гараж

Гараж был устроен так, будто его проектировал сам Чемоданов по законам золотого сечения: каждая вещь стояла на месте, где ей полагалось быть, и ни на миллиметр дальше. Пространство не экономили — его рассчитывали. Закрыт он был велосипедным замком с кодовым механизмом, и кодом служила постоянная Ридберга — он брал её как есть, без степеней, будто цифры сами по себе были паролем. Он единственный в мире открывал свой гараж постоянной Ридберга.

Аппарат занимал половину гаража и выглядел так, будто его собрал человек, который одновременно понимает квантовую механику и не понимает быт. Металлическая рама, сваренная из уголков, найденных на свалке за авторынком. Три генератора — два от старых холодильниковых компрессоров, один от стиральной машины. Медные катушки, намотанные вручную, с разным шагом: он менял шаг каждый раз, когда что-то не сходилось. Лазер — от школьного кабинета физики, списанный почти даром. Осциллограф — с барахолки, ламповый, тяжёлый, в металлическом корпусе, 1969 года выпуска. Чемоданов искал именно этот год. В 1969-м первый сигнал проскочил между двумя компьютерами, и мир, сам того не поняв, изменился навсегда. Чемоданов знал: всё, что рождалось в год перелома, несёт в себе память о нём.

Осциллограф не врал не потому, что был ламповым, а потому что помнил, как выглядит момент, после которого ничего уже не будет как прежде.

В углу гаража стоял старый велосипед — потёртый, с облупившейся краской, с багажником, на котором он иногда возил части прибора. Икар называл его про себя Инфинити. Не вслух — вслух он бы не признался. Но когда он ехал на нём по улице, с рюкзаком, набитым бумагами, с планшетом под мышкой, — он чувствовал себя рыцарем, выезжающим на битву. Непонимающие или незнающие были повсюду: академия, культы, люди, которые не хотели видеть, не хотели понимать.

Рюкзак был набит до отказа: распечатки статей, пара книг, термос, фонарик и то, что он считал своей энергией — зёрна кофе. Иногда он просто брал зерно и начинал жевать. И тогда он чувствовал, как энергия от ядра зерна растекается по крови. Он редко жевал зёрна — но всегда носил их с собой, потому что верил: однажды понадобятся.

Соседи думали — телескоп. Соседи думали — НЛО. Соседи думали — что угодно, лишь не то, что это на самом деле, потому что то, что это на самом деле, было страшнее НЛО. НЛО — это далеко. А то, что нашёл Чемоданов, — близко. Настолько близко, что под ногами.

Он повесил пиджак, не глядя, на торчащий гвоздь. Потом остановился. Поправил ремешок часов — не из-за удобства, из-за ритуала. Это был его маленький, личный обряд зазем-

ления: поправить часы, глубоко вдохнуть, посмотреть, как стрелка ползёт вперёд, и сказать себе: «Сейчас ты здесь. Сейчас ты в порядке. Остальное подождёт».

Сел перед аппаратом и включил. Гул. Щелчок. Лазер — тонкий луч, рассечённый призмой, разложенный на спектр. Осциллограф ожил — зелёная линия, дрожащая, как нерв.

Чемоданов достал листок. Разгладил на столе. Посмотрел на свою запись. Радиус Бора, третьего электрона атома кислорода. Базовая величина, первый курс, любой учебник. Но Чемоданов не смотрел на учебник. Он смотрел на пропорцию. Если взять радиус Бора и масштабировать — не вверх, не вниз, а перпендикулярно — не в трёх измерениях, а в смысле, который ещё не придумали, но который он придумал и не мог объяснить — то Земля ложится на орбиту с радиусом, который отличается от расчётного на полпроцента.

Полпроцента. Ошибка? Нет. Шум? Нет. Резонанс? Может быть. Полпроцента — это не ошибка. Полпроцента — это то, что отличает «случайность» от «закономерности» в физике. Полпроцента — это то, на чём держится весь мир, если ты готов увидеть.

Он сам объяснял это себе сотню раз — и всё равно каждый раз останавливался, будто натыкался на стену. Если Земля — электрон, то её орбита должна подчиняться тем же квантовым правилам, что и орбита электрона в атоме. Но наблюдения и опыты дают сдвиг. Не большой — всего 0,47%. Но именно этот сдвиг и есть сигнал. Как нота, сыгранная чуть

мимо: она не фальшивая, она просто настроена на другой инструмент. И если найти этот другой инструмент — весь мир зазвучит иначе.

Чемоданов записал в тетрадь — толстую, в клетку, исписанную наполовину:

«01.10. Расхождение 0,47%. Подтверждено третьим прогоном. Третий прогон подтверждён болью в колене. Боль — не переменная, но фиксирую».

Это была его лабораторная книга. Смешно? Он знал. Профессор, академия, публикации, цитирования — и тетрадь в клетку, исписанная от руки, с приписками про колено. Но четыре месяца назад, когда он впервые увидел эти полпроцента, он понял: если расскажет — не поверят. Если не расскажет — сойдёт с ума. Одно исключает другое, но только если он будет двигаться. Если остановится — оба наступят одновременно.

Внутри него жили трое. Он давно перестал считать это болезнью — скорее, это была его личная коллегия, которая заседала круглосуточно и никогда не приходила к единому мнению.

Математик говорил короткими, отточенными фразами, будто выводил формулу на доске. Он не терпел эмоций и называл их «шумом в системе». «Если расхождение повторяется трижды, — говорил он, — это не случайность. Это закономерность. Другое дело, что мы пока не знаем её границ». Он не говорил «белый цвет» — он говорил «цвет, равный

RGB 255,255,255». Икар знал, что данный цвет лабораторный, в природе такого нет. Для него чистый белый был не истиной, а подозрительной пустотой.

Физик был осторожнее. Он всегда задавал вопросы, на которые не было ответа: «А если прибор врёт? А если это оптическая иллюзия? А если ты просто хочешь увидеть то, чего нет?» Он не спорил — он проверял. И именно поэтому Чемоданов ему доверял больше всех.

Химик был самым странным. Он думал не формулами, а реакциями. «Всё связано со всем, — говорил он. — Кислород — каркас. Вода — растворитель. Атом — модель. Если Земля — электрон, то что тогда Солнце? Ядро? А мы — что мы? Мы — те, кто пытается понять, что они — часть атома». Химик часто переходил на шёпот, будто боялся, что его услышат снаружи.

Они спорили месяцами. Математик требовал доказательств. Физик требовал проверки. Химик требовал, чтобы ему дали договорить. И в этом споре, думал Чемоданов, рождается истина. А истина — это аксиома. А аксиома — это то, с чего начинают, потому что дальше нельзя.

Он не искал признания. Он искал закон. Если мир устроен по закону, этот закон можно сформулировать. А сформулированный закон становится аксиомой. А аксиома не требует доказательств — с неё начинают. В этом было всё: и его математика, и его физика, и его химия. Три степени, три способа смотреть на один и тот же мир — и ни одного способа

объяснить это людям, которые привыкли жить без аксиом.

Он выключил аппарат. И в этот момент заметил: зелёная точка на экране осциллографа не погасла сразу. Она тлела ещё секунду, две, три — дольше, чем должна была. Люминофор такой модели не держит след так долго. Икар смотрел на неё, пока она не исчезла. Потом моргнул. Решил, что показалось. Устал. Бывает.

Запер гараж. Постоянная Ридберга — щёлк. На улице ветер стих. Листьев не было — октябрь. Но один лежал у его ног. Лист каштана, жёлтый, с прожилками, без центрального листка, — и те, что остались, складывались в две бесконечности.

Чемоданов поднял его. Повертел. Положил в карман, к листку. И пошёл домой, прихрамывая, с чернилами на пальце, с кровью на колене, с синяками по всему телу и с миром, который на полпроцента отличался от того, каким его считали все остальные.

Театр

Ему было восемь. Мама взяла его в театр — не потому, что он просил, а потому, что ей дали два билета на работе. Она надела своё лучшее пальто, то самое, серое, с большими пуговицами, и душилась духами, которые пахли как что-то взрослое и недоступное. Икар помнил этот запах до сих пор — смесь сирени и чего-то ещё, что он не мог назвать.

Он родился 8 августа в 8 утра. Мама говорила, что это знак. Две восьмёрки — как две бесконечности, соединённые

в одно. Отчества у него не было — только матчество: Икар Ольгович, по маме, Ольге. Об отце он никогда не спрашивал. Ему хватало мамы. Она была за весь мир — пока он не научился читать книги и задавать вопросы, на которые у неё не было ответов. Но даже тогда он не спрашивал про отца. Просто потому, что не думал о нём. Как не думают о вещах, которых никогда не было.

В театре было темно и торжественно. Люстры горели жёлтым, как маленькие солнца, и Икар смотрел на них, запрокинув голову, пока мама не потянула его за руку.

— Идём, идём. Опоздаем.

Они сидели в двенадцатом ряду. Спектакль ещё не начался. Зелёный занавес был задёрнут, в зале гудели голоса, кто-то смеялся, кто-то искал своё место. Мама дала ему театральный бинокль — тяжёлый, чёрный, с холодным металлом, который пах железом и чьими-то руками.

Икар взял его, приложил к глазам и посмотрел на сцену. Занавес стал ближе. Не просто больше — ближе. Он видел каждую складку на ткани цвета RGB(0, 128, 0), каждую пылинку в луче света, каждую нитку в золотой бахроме. Он опустил бинокль — занавес снова стал далёким. Поднял — снова близким. Опустил — далёким.

И тут он сделал то, что делают все дети, которым в руки попал бинокль. Он перевернул его. Посмотрел через другую сторону.

Занавес стал маленьким. Не просто далёким — крошеч-

ным, будто его уменьшили. Сцена стала коробкой. Люди в зале стали точками. Люстры стали искрами. Весь театр — тёмным пятном, в котором ничего не разобрать.

Икар замер. В голове что-то щёлкнуло — не громко, не больно, просто щёлкнуло. Как будто внутри него открылась дверь, о которой он не знал.

Он снова перевернул бинокль. Занавес стал большим. Потом маленьким. Потом большим. Потом маленьким. Он делал это снова и снова, пока мама не положила руку ему на плечо.

— Икар, перестань. Людям мешаешь.

Он опустил бинокль. Но мысль уже была внутри. Она была не словами — словами он тогда ещё не умел думать. Она была чувством. Чувством, что мир можно смотреть с разных сторон. Что если смотреть через линзы, с помощью других приборов, можно увидеть то, чего не видно глазом. Что большое и маленькое — это не разные вещи, а одно и то же, только с разных сторон. Что если перевернуть мир — он не исчезнет, он просто станет другим.

Тогда он не знал, что это и есть начало. Что через много лет он соберёт прибор, который будет смотреть на мир не через две линзы, а через сотни. Что он будет искать не занавес, а атом. Что он будет искать не сцену, а Землю на орбите. Что тот самый щелчок — когда он переворачивал бинокль и мир менял размер, — станет первым шагом к «Раскопу».

Он не знал. Он просто играл.

Потом занавес открылся. Спектакль начался. Икар смотрел на сцену — то через бинокль, то без. Актёры то приближались, то отдалялись. Он видел, как один из них, стоящий у самого края, чуть покачивается на носках, будто готовится прыгнуть. Видел, как у другого дрожит рука — от волнения или от старости, Икар не понял.

Он посмотрел на маму. Она смотрела на сцену и улыбалась — тихо, одними губами, как улыбаются, когда не хотят, чтобы кто-то заметил. Икар подумал: а если посмотреть на маму через бинокль — она станет ближе? Он поднял бинокль. Мама стала ближе. Он видел морщинки у её глаз, которых не замечал раньше. Видел, как она дышит. Видел, как у неё на пальце блестит кольцо — то самое, которое она потом продаст, когда он заболеет и понадобятся деньги на лекарства.

Он опустил бинокль. Мама снова стала далёкой. Но он уже знал: она близкая. Просто нужно было посмотреть правильно.

После спектакля они вышли на улицу. Было холодно. Мама застегнула пальто и взяла его за руку.

— Понравилось?

— Да, — сказал Икар. — Мам, а если смотреть на всё через бинокль — можно увидеть, как всё устроено?

Мама засмеялась. Не громко, не обидно — просто тихо, как она умела.

— Не знаю, сынок. Может быть. А зачем тебе?

— Чтобы понять, — сказал Икар.

Она посмотрела на него сверху вниз. В её глазах было что-то, чего он тогда не понял. Теперь он знал: это была грусть. И любовь. И страх.

— Ты у меня странный, — сказала она. — Но это хорошо. Странные видят больше.

Она больше ничего не сказала. Они пошли домой. По дороге Икар смотрел на фонари, на машины, на окна домов — и представлял, что смотрит на них через бинокль. Большое становилось маленьким. Маленькое становилось большим. Мир был не одним, а многими — и все они были настоящими.

Он не знал, что чувство останется. Оно спало внутри, как зерно, и ждало. Ждало, когда ему дадут имя.

Минута

Университет встретил его запахом старой бумаги и хлорки. Икар знал этот запах — он провёл здесь пятнадцать лет. Три степени. Математика, физика, химия. Когда-то он входил в эти двери медленно, с чувством человека, который знает, где его место. Теперь он вбежал — с планшетом под мышкой, с расстёгнутым пиджаком, с коленом, которое само иногда прихрамывало после падения на улице.

Он держался неестественно прямо — так выпрямляются люди, для которых честь важнее удобства. Шагал порывисто, будто всегда спешил на подвиг, и при этом чуть покачивался от усталости. В движениях была смесь благородства и неук-

люжести: он хотел быть грациозным рыцарем, а выходил человек, которому тесно в собственных доспехах.

Планшет был старый, потрёпанный, с треснувшим уголком. Внутри — расчёты, фотографии экрана осциллографа, схемы, перечёркнутые и переписанные заново. Всё, что осталось от «Раскопа», который занимал половину гаража и который нельзя было унести под мышкой. Прибор остался в гараже под тканью цвета, максимально приближенного к RGB(0, 0, 0). Но то, что было в планшете, было важнее прибора. Прибор — это железо. Планшет — это доказательство.

Вахтёр поднял голову.

— Мне нужно к ректору, — сказал Икар.

— Без пропуска нельзя.

— У меня открытие.

— Без пропуска нельзя, — повторил вахтёр.

Икар обошёл его. Быстро, уверенно. Вахтёр что-то крикнул вслед, но Икар уже поднимался по лестнице.

На второй этаж он взлетел, не заметив ступеней. На третьем — споткнулся. Нога зацепилась за край ковровой дорожки, которая лежала здесь, сколько он себя помнил, и всегда была чуть сбита на повороте. Он упал на одно колено, прижимая планшет к груди, как ребёнка. Уголок треснул ещё чуть-чуть. Икар замер, прислушиваясь, не разбилось ли что-то внутри. Ничего не разбилось. Только колено — снова то же самое, левое, — отозвалось тупой болью. Чемоданов быстро вздохнул и направился дальше.

Он поднялся. И тут увидел их.

Первый — доцент Кравцов. Тот самый, с которым они вместе когда-то писали статьи. Кравцов шёл навстречу с папкой под мышкой, в сером костюме, который был ему великоват. Увидев Икара, он замедлил шаг. Не остановился — замедлил. И этого было достаточно.

— Икар Ольгович, — сказал он, и в голосе было столько вежливой дистанции, что она казалась стеклом. — Вы к ректору?

— Кравцов, — выдохнул Икар. — Слушай. Мне нужно в триста четырнадцатую. Там сейчас лекция?

— У профессора Соловьёва. — Кравцов посмотрел на планшет под мышкой Икара, и в его глазах мелькнуло что-то — не жалость, хуже. Узнавание. — Икар Ольгович, вы уверены, что вам туда надо?

— Уверен.

— Там студенты. — Кравцов сказал это мягко, но в мягкости был приговор. — Может, сначала к ректору? Или к врачу?

Икар не ответил. Он обошёл Кравцова — так же, как вахтёра, — и пошёл дальше по коридору. Чемоданов чувствовал спиной, как Кравцов стоит и смотрит ему вслед. Он не обернулся.

Второй — студентка. Её звали Лиза, кажется. Или Лида. Она училась у него на втором курсе, когда он ещё читал лекции. Тогда она задавала вопросы, которые были умнее его

ответов. Сейчас она стояла у окна с телефоном в руке и разговаривала с кем-то, улыбаясь. Увидев Икара, она замолчала. Не испугалась — просто замолчала, будто нажала кнопку «пауза». Он кивнул ей. Она кивнула в ответ.

Третий — профессор Соловьёв. Он шёл из аудитории триста пятой, где, видимо, только что закончил лекцию. Седой, с бородой, в очках, которые он постоянно поправлял привычным движением. Они встретились в коридоре — лицом к лицу.

— Чемоданов? — Соловьёв остановился. — Что вы здесь делаете?

— Мне нужно в триста четырнадцатую.

— Там сейчас моя лекция. — Соловьёв посмотрел на планшет. — Что это?

— Это... — Икар запнулся. Он хотел сказать «открытие», но слово вдруг показалось слишком пафосным для коридора с облупившейся краской. — Это объяснение. Расчёты. Фотографии. Я покажу. Это займёт минуту.

Соловьёв молчал. Он смотрел на Икара долго, будто решал уравнение, у которого нет решения. Глядя на Чемоданова, можно было сказать: вот человек, который верит, что мир можно исправить, если громко и честно сказать правду. Соловьёв знал, что это не сработает. Но почему-то не мог сказать «нет» сразу.

Потом вздохнул.

— Икар Ольгович. Я помню вас. Вы были лучшим на кур-

се. — Он поправил очки. — И я помню, что вы ушли. Не попрощавшись. Просто перестали приходить. А теперь появляетесь с... — он кивнул на планшет, — с этим. И просите минуту.

— Да.

— Хорошо. — Соловьёв неожиданно кивнул. — Минута у вас. Но если вы сорвёте лекцию, я вызову охрану.

Он пошёл впереди. Икар — за ним. В коридоре было тихо, только где-то за стеной гудел проектор и кто-то смеялся. Икар слышал, как за спиной открылась и закрылась дверь — Кравцов всё-таки ушёл. Или Лиза. Или кто-то ещё. Он не оборачивался. Он смотрел на спину Соловьёва — прямую, спокойную, — и думал: сейчас. Сейчас будет минута.

Аудитория триста четырнадцатая была полна. Двадцать шесть студентов — не первокурсники, а старшекурсники, с лицами, которые уже устали от учёбы. Они сидели за длинными столами, кто-то записывал, кто-то спал, кто-то смотрел в телефон. Увидев Икара с планшетом, все подняли головы.

Среди них — двое на последнем ряду. Парень в серой толстовке и девушка с блокнотом, в котором она не записывала, а рисовала. Их звали Костя и Лена. Они учились на разных факультетах, но на эту лекцию пришли вместе — потому что им было интересно. Потому что они искали что-то, чему ещё не знали названия.

Они слушали Икара внимательнее всех. Не потому, что понимали, — а потому, что чувствовали. В его сбивчивой

речи, в его дрожащих руках, в его «вы не понимаете, это же элементарно» было что-то, что отзывалось в них. Что-то про масштаб. Про то, что мир больше, чем кажется. Про то, что они — часть чего-то, чего не видят.

Они не запомнили его фамилию. Они не поняли формул. Но они запомнили ощущение: вот человек, который видит то, чего не видят другие. И он говорит об этом вслух — даже когда его выводят охранники.

Соловьёв поднялся на кафедру.

— У нас гость, — сказал он ровно. — Икар Ольгович Чемоданов. Три степени. Математика, физика, химия. Он хочет показать нам что-то. Минуту, господа.

Он сел на первый ряд. Студенты переглянулись.

Икар положил планшет на стол. Открыл папку с расчётами. На экране — фотография осциллографа: зелёная линия, дрожащая, как нерв. Рядом — схема. Рядом — формула. Он начал говорить.

— Вот звёзды, — сказал он, показывая на фотографию. — Вот молекулы. Вот атомы. А вот — мы.

Он говорил быстро, перескакивая с темы на тему. Про радиус Бора, про Землю-электрон, про полпроцента, про резонансный сдвиг. Про то, что если взять радиус Бора и масштабировать — не вверх, не вниз, а перпендикулярно — то Земля ложится на орбиту с радиусом, который отличается от расчётного на полпроцента. Про то, что этот сдвиг — не ошибка, а сигнал. Про то, что осциллограф 1969 года пом-

нит момент, после которого ничего не будет как прежде.

Студенты слушали. Кто-то с интересом, кто-то с недоумением, кто-то с той вежливой пустотой, которая означает «я не понимаю, но не хочу перебивать».

Профессор Соловьёв подошёл. Взял планшет. Долго смотрел на экран. Листал фотографии. Возвращался. Смотрел снова. Икар видел, как его палец на секунду замер над одной из фотографий — той самой, где зелёная точка тлела чуть дольше, чем должна была. Соловьёв прищурился. Перелистнул. Вернулся. Прищурился снова. Потом выпрямился.

— Чемоданов, — сказал он тихо. — Здесь ничего нет.

Он сказал это на полсекунды позже, чем мог бы. Икар заметил. Но не понял, что это значит.

— Как нет? — Икар рванулся к планшету. — Смотрите! Вот фотография. Вот схема. Вот формула!

Он сам заглянул в экран. Звёзды, молекулы, атомы, город, себя — всё было там. Всё было видно.

— Вот! — закричал он.

Соловьёв покачал головой.

— Это фотографии, — сказал он. — Снимки экрана. Формулы, которые нельзя проверить. Схемы, которые к чему-то подключены. — Он положил планшет на стол. — Чемоданов, вы показываете мне не доказательство. Вы показываете мне свою веру. А вера — это не физика. Вам нужно к врачу. Староста, вызовите охрану.

В аудитории стало тихо. Кто-то из студентов отвёл глаза.

Кто-то, наоборот, смотрел во все глаза — как на аварию. Лиза — или Лида — стояла у двери, и в её руке был телефон, но она не снимала. Просто стояла. И Икар успел заметить, как она смотрит не на него, а на экран планшета — туда, где на одной из фотографий тлела зелёная точка. Она видела. Она точно видела. Но ничего не сказала.

Костя и Лена сидели на последнем ряду и молчали. Они не поняли ни слова. Но они запомнили ощущение.

Охранник вошёл через минуту. Молодой, широкоплечий, с выражением человека, который делает свою работу и не задаёт вопросов. Он взял Икара за локоть.

— Пойдёмте.

— Вы не понимаете! — кричал Икар. — Прибор работает! Я видел!

Его вывели в коридор. Кравцов стоял у окна и смотрел в сторону. Лиза — или Лида — закрыла глаза. Соловьёв остался в аудитории. Он смотрел на дверь, за которой только что вышел Икар, и думал: меня система сломала. Бедный Чемоданов, ты всегда был умнее всех, умнее всей системы, но система всё равно сильнее тебя. Если бы я тогда, сорок лет назад, не перестал задавать вопросы — где бы я был сейчас? Он поправил очки и сказал: «Продолжаем. На чём мы остановились?»

Дверь закрылась.

На крыльце Икар сел на мокрую ступеньку. Планшет лежал рядом. Дождь стучал по пластику. Он посмотрел на за-

пястье. Стрелка шла.

Внутри снова заговорили трое.

— Фотография — не эксперимент, — сказал Математик.

— Прибор работал, — возразил Физик.

— Это не доказательство.

— А что доказательство?

Математик промолчал.

— Я знаю, что ты работал, — сказал Икар планшету. — Но они не увидели.

Тогда, на крыльце, он и назвал его впервые — «Раскоп». Потому что он раскапывал. Не землю — масштаб. Он раскапывал мир, чтобы добраться до слоя, на котором всё сходится. А также Ра — это верховный бог египетской цивилизации, который проливал свет, он сам был Солнцем, а скоп — от двух скопов: теле- и микро-.

Глава 3

Сирень

Ему было двадцать шесть, когда мама заболела. Не сразу — сначала просто устала. Потом перестала выходить на работу. Потом перестала вставать. Врачи говорили разное, но все сходились в одном: время. Не «сколько осталось», а «сколько ещё». Разница была в предлогах, и от этого предлога зависело всё.

Больница была старой. Палата на восемь человек, но лежала в ней только мама. Остальные семь коек пустовали — застеленные, с подушками без наволочек, с металлическими спинками, которые блестели в свете ламп. Иногда по коридору проходила медсестра, и её шаги отдавались в тишине слишком громко. Иногда где-то за стеной плакал ребёнок. Потом замолкал.

Икар приходил каждый день. Приносил сирень. Мама любила сирень — не за запах, а за то, что она «не как все цветы». «Розы — это для тех, кто хочет казаться, — говорила она. — А сирень — для тех, кто просто хочет». Он не понимал тогда, что она имеет в виду. Теперь понимал.

Сирень он покупал у метро. У женщины, которая стояла там каждый день с вёдрами, полными веток. Она уже знала его и откладывала самые свежие. Ино-

гда он брал белые, иногда лиловые. Мама не говорила, какие ей больше нравятся. Она просто улыбалась, когда он ставил их в банку на подоконнике.

Однажды он заметил, что среди цветков есть один с четырьмя лепестками. Не пять, как обычно, а четыре. Он показал маме. Она посмотрела и сказала:

— Это на счастье.

— Нет, — сказал он. — На счастье — это пять. Пять лепестков. Это все знают.

— А ты не как все, — сказала она. — Ты смотришь правильно.

После этого он начал искать четырёхлепестковые. Каждый день, когда приносил сирень, он перебирал ветки, пока не находил хотя бы один. Это было редко — один на сотню, может, на тысячу. Но он находил. И каждый раз показывал маме. Она смотрела и улыбалась — тихо, одними губами, как умела только она.

Потом он стал замечать, что четырёхлепестковый цветок похож на две восьмёрки, перекрещённые между собой. Если посмотреть под определённым углом. Если перевернуть. Если прищуриться. Он показал маме. Она долго смотрела, потом сказала:

— Ты у меня странный, — сказала она. — Ты видишь то, чего другие не видят. Это дар. Не потеряй его.

Она умерла в мае. В самый разгар весны — когда

сирень цвела везде, когда город пах ею так, что кружилась голова, когда окна в палате открывали настежь, и ветер нёс свежесть, обновление и чьё-то радио.

В то утро он шёл к ней с сиренью в руке. Солнце било в глаза, асфальт был сухой и чистый после вчерашнего дождя, и всё вокруг было таким свежим, таким молодым, что казалось — ничего плохого не может случиться в такой день. У метро женщина с вёдрами улыбнулась ему и протянула ветку:

— Смотри, сегодня много четырёхлепестковых. Весна.

Он взял. Один нашёл сам, ещё по дороге, у чьего-то забора. Положил в карман. Думал, покажет маме — она улыбнётся.

В палате было тихо. Окно открыто. Занавеска шевелилась от ветра. Койки пустовали — все семь, застеленные, с подушками без наволочек. А на восьмой лежала мама. Она не спала. Она просто лежала, и лицо у неё было спокойное, будто она уже всё решила и теперь отдыхала.

Медсестра стояла у окна и смотрела в сторону. Она не обернулась, когда он вошёл. Только сказала тихо:

— Полчаса назад.

Икар положил сирень на тумбочку. Потом подошёл к маме. Она лежала спокойно, будто спала. Он взял её

руку — ещё тёплую, тяжёлую, уже не её. Постоял. Потом достал из кармана четырёхлепестковый цветок и положил ей на грудь.

— Это на счастье, — сказал он. — Ты была права.

Он не плакал. Не потому, что держался. Просто не мог. Внутри было пусто, как в той палате, где лежала только она, а остальные койки стояли застеленные, с подушками без наволочек.

Он вышел на улицу. Был май. Солнце. Сирень цвела у каждого забора, у каждого подъезда, у каждой остановки. Икар сел на скамейку у больницы и просидел так, наверное, час. Может, два. Он смотрел на часы. Стрелка шла. Потом он встал и пошёл домой.

С тех пор сирень стала его любимыми цветами. И потому, что мама любила. И потому, что в каждом четырёхлепестковом цветке он видел две восьмёрки, перекрещённые между собой. Две бесконечности, соединённые в одно. Он не знал, что это значит для самой сирени. Но чувствовал, что это важно для него.

Иногда он думал: если бы мама была жива, она бы поняла. Она всегда понимала то, чего не понимали другие. Она смотрела на него и улыбалась — тихо, одними губами, — и говорила: «Ты у меня странный. Но это хорошо. Странные видят больше».

Он не знал, что это значит. Но запомнил.

Каблук

Она шла впереди него по улице. Невысокая, в светлом плаще. Каблуки стучали по асфальту, как метроном. Вдруг стук оборвался. Каблук сломался. Она оступилась, чуть не упала. Икар подбежал, подхватил под локоть — так, будто спасал от дракона. Каблук был драконом.

Екатерина посмотрела на него — худого, взъерошенного, с чернильным пятном на пальце — и вдруг подумала: вот рыцарь.

— Вы в порядке?

Она подняла на него глаза — серо-зелёные, с искоркой. Улыбнулась.

— Каблук — да. Я — нет. Но это не смертельно.

Он проводил её до дома. По дороге разговорились. Её звали Екатерина. Она работала в библиотеке, любила старые книги и странные истории. Он называл её только Екатерина Великая. С первого дня. Это было не иронией и не лестью — это было признанием её масштаба.

За три дня они встретились ещё дважды. Он рассказал ей всё: про прибор, про электрон, про атом кислорода, про сперматозоиды и пещерных предков, про ковчег и «Титаник». Она слушала и улыбалась. А он смотрел на неё и думал: вот она, четырёхлепестковая сирень. Редкая. Хрупкая. Настоящая. На следующий день он снова зашёл к забору — и на этот раз на-

шёл. Один. Четыре лепестка. Он положил его в карман, к листку каштана.

Екатерина не считала его безумцем. Или считала — но не так, как другие. Она видела человека, который задыхается от собственной мысли и не умеет дышать иначе. Она поила его чаем в библиотеке, когда он приходил слишком рано. Она не спорила, когда он говорил про полпроцента. Она просто слушала. Иногда этого достаточно, чтобы человек почувствовал себя живым.

Однажды, когда он особенно долго рассказывал про резонансный сдвиг, она вдруг подняла глаза к потолку. Там, в углу, у самой лампы, на секунду вспыхнула зелёная точка — маленькая, как светлячок. Екатерина моргнула. Точка исчезла.

— Что? — спросил Икар.

— Ничего. — Она улыбнулась. — Показалось.

Она была младше его на пятнадцать лет, но казалась ровесницей — усталость уравнивает.

У неё был брат. Антон. Двадцать восемь лет. Диагноз, который не называли вслух, но который требовал лекарств — дорогих, импортных, постоянных. Каждый месяц — как ещё одна квартира, только меньше. Каждый звонок из клиники — как удар под дых. Екатерина работала в библиотеке, брала дополнительные смены, продавала старые книги из домаш-

него шкафа. Этого не хватало.

Она не любила свою жизнь. Но она любила брата. И это было единственное, что не позволяло ей сдаться.

Один раз

Это случилось в конце октября, когда дожди уже перестали быть случайными и превратились в фон. Икар пришёл в библиотеку за восемь минут до закрытия. Не за книгой — у него была конкретная цель, и он сам себе в этом не признавался. Екатерина стояла у стеллажа с тележкой возвращённых книг. Волосы немного устали к концу рабочего дня, на щеке — пыльное пятнышко, день сегодня был слишком трудный.

— Я на минуту, — сказал он. — Просто шёл мимо.

Она посмотрела на него и улыбнулась — не дежурно, а как человек, который рад видеть именно Икара, а не очередного посетителя.

— Шестьдесят секунд — это много, — сказала она. — У меня ещё два стеллажа.

Екатерина прекрасно знала, что Икару нравятся цифры. Она знала, что с ним кокетничать нужно специализированным способом.

Он остался. Сначала помогал ставить книги — неуклюже, не туда, она поправляла. Потом они сели на подоконник в дальнем углу, где было темно и пахло

старой бумагой и мокрым асфальтом из приоткрытого окна. Говорили ни о чём. О том, что в этом году сирень цвела поздно. О том, что у неё в детстве был кот, который любил забираться в фортепиано. И никто в доме не знал, кот сейчас в пианино или нет, пока не начинали играть. Она смеялась — тихо, не над ним, а рядом с ним.

— И что, находили? — спросил Икар.

— Всегда. — Она улыбнулась. — Он думал, что спрятался. А его всё равно находили. Каждый раз, когда начинали играть. Он сидел внутри, слышал музыку — и, наверное, думал, что это его убежище. А на самом деле это был инструмент. На нём играли. А он думал, что прячется.

Она сказала это просто, как говорят о детстве. Икар засмеялся. Но что-то в её словах царапнуло — не мысль, а ощущение. Как будто она говорила не только про кота.

А потом — щёлкнуло. Он же физик. Кот в пианино — это же почти кот Шрёдингера. Кот в ящике, который «находится» только тогда, когда его наблюдают. Только у неё ящик был пианино, а наблюдение — музыкой.

Она знала, что он физик. Она выбрала эту историю специально. Это было её кокетство — специализированное, как она умела. Она флиртовала с ним на его

языке.

Икар посмотрел на неё. Она смотрела на него. И в её глазах было что-то — не насмешка, а приглашение. Она ждала, поймёт ли он. Он понял.

— Кот Шрёдингера, — сказал он вслух. — Только у Шрёдингера ящик, а у вас — пианино. И наблюдение — это музыка.

Она улыбнулась. Не дежурно. А так, как улыбаются, когда их поймали. Или когда их наконец поняли.

— Может быть, — сказала она. — А может, я просто рассказала про кота.

Но она рассказала не просто про кота. Она рассказала ему про него. Про то, что он тоже сидит в своём ящике и думает, что его не найдут. А его найдут. Как только начнут играть. И он это понял. И ему это понравилось.

Он влюблялся в неё. Не в женщину, которая слушает его формулы. А в женщину, которая играет с ним на его языке. И которая знает, что он поймёт.

— Мне нравится, — сказал он тихо. — Как вы это делаете.

— Что делаю?

— Говорите со мной так. Как будто я не сумасшедший. Как будто я просто... кот в пианино.

Она засмеялась. Тихо, не над ним, а рядом. И он понял, что готов слушать этот смех вместо всех своих

формул.

Икар смотрел на её руки. Её кисти напоминали кисти его матери. Она держала кружку с остывшим чаем, и пальцы у неё были тонкие, с коротко остриженными ногтями. Он думал: вот сейчас надо что-то сказать. Что-то важное. Но в голове было пусто — не от глупости, а от того, что все слова казались слишком громкими для этой тишины.

— Икар, — сказала она вдруг. — А ты когда-нибудь думаешь не о приборе?

Он моргнул.

— Думаю.

— О чём?

Он не ответил. Просто посмотрел на неё. И она не отвела глаз.

Потом они оказались у него дома. Не потому, что он предложил, — он просто сказал: «Пойдём, у меня есть вино. Какое-то». А она согласилась не задумываясь. Квартира была маленькая, с высокими потолками и запахом сирени — он любил разбрызгивать духи с таким запахом, но иногда этот запах перемешивался с запахом кофе, потому что он любил кофе в зёрнах, и зёрна иногда падали где угодно, и для Икара это не был мусор, это были всего лишь зёрна. Они прошли на кухню. Икар достал вино и налил в две разные чашки, потому что бокалов у него не было.

Он смотрел, как вино ложится в чашки — просто, без суеты, — и в нём вдруг проснулось то самое, что всегда мешало ему жить: желание поправить. Чашки стояли несимметрично. Одна — ближе к краю стола, другая — чуть дальше. Он протянул руку и выровнял их на миллиметр. Екатерина заметила. Улыбнулась.

— Ты всегда так?

— Как?

— Всё выравниваешь.

Он задумался на секунду.

— Если что-то стоит криво, я не могу думать о другом. Это не порядок. Это… — он поискал слово, — … условие. Как в формуле: если нарушить симметрию, решение перестаёт сходиться.

— А люди?

Он посмотрел на неё. Потом на её чашку. Потом на свои руки.

— Люди — не формулы, — сказал он тихо. — Но я всё равно пытаюсь.

Она села на табурет. Он — напротив. Вино было терпкое, слишком холодное, но они пили его маленькими глотками, будто это было что-то важное. На столе между ними лежали кофейные зёрна — несколько штук, просыпавшихся из банки. Икар машинально собрал их в ладонь, пересчитал. Семь. Он не знал, что с ними делать, поэтому просто положил обратно — ров-

но в центр стола.

— Ты их не выбрасываешь? — спросила она.

— Нет. Это не мусор. Это энергия. Иногда я их жую.

— Жуёшь?

— Да. Зёрна. Они горькие, но бодрят. Как будто внутри просыпается что-то, что спало.

Она засмеялась — тихо, не над ним, а рядом. И он вдруг понял, что этот смех он готов слушать вместо всех своих формул.

Потом они говорили о матери. Он сам не заметил, как начал. О том, что у неё были такие же тонкие пальцы. О том, что она любила сирень. О том, что он до сих пор разбрызгивает духи с этим запахом — не потому, что верит в память, а потому, что иначе квартира кажется слишком пустой. Екатерина слушала, не перебивая. И в какой-то момент положила свою руку на его. Просто так. Как будто это было самое естественное движение в мире.

Икар замер. Внутри него Математик сказал: «Это нелогично. Вы знакомы две недели». Физик возразил: «Но это происходит». Химик промолчал — впервые за долгое время.

А потом он сделал то, что делал всегда, когда мир становился слишком сложным. Он начал готовиться.

Он встал, подошёл к пиджаку, висевшему на спинке стула, и достал из внутреннего кармана сложенный

вчетверо лист. Справка из клиники. Настоящая, с печатью, с подписью врача. В ней говорилось, что Икар Ольгович Чемоданов здоров, венерических заболеваний не имеет, и результаты анализов действительны на текущую дату. Он носил её с собой уже неделю — с того самого дня, как впервые поймал себя на мысли, что хочет остаться с ней дольше, чем на минуту. Он готовился по-своему: сдал анализы, дождался результата, сложил лист вчетверо и положил во внутренний карман — рядом с сердцем, как носят самое важное.

Он положил справку на стол — рядом с чашкой, но не слишком близко, чтобы не выглядело навязчиво. Екатерина посмотрела на лист. Развернула. Прочитала. Потом подняла на него глаза.

— Ты серьёзно?

— Я подумал, что ты должна знать, — сказал он тихо. — Это не романтично. Но это честно. У меня три степени. Математика, физика, химия. Я умею доказывать. Но я не умею… — он запнулся, — …не умею быть уверенным в том, что не проверено. А ты — не формула. Тебя нельзя проверить. Поэтому я принёс хотя бы это.

Она смотрела на него — долго. Потом улыбнулась. Не жалостливо — нежно.

— Ты невозможный, — сказала она. — Ты знаешь это?

— Знаю, — ответил он. — Но я стараюсь.

Она положила справку обратно на стол. Не отодвинула — просто убрала руку. И на секунду задержала пальцы на краю листа — так, будто проверяла, настоящий ли. Икар заметил. Но не понял. Он вообще не умел понимать такие вещи: в его мире всё было написано на бумаге, а здесь бумага молчала.

— А у меня нет справки, — сказала она тихо. — И тебе она не понадобится. Ты позже поймёшь почему.

Икар не спросил. Он вообще не умел спрашивать о таких вещах — в его мире на всё были формулы, а здесь формулы заканчивались. Он просто кивнул. И в этом кивке было больше доверия, чем в любой клятве.

Она встала. Подошла к нему. И положила голову ему на плечо — так же просто, как до этого касалась его руки.

— Икар, можно я останусь?

Он посмотрел на неё. И тихо, почти шёпотом, ответил:

— Тебе всегда всё можно. Ты же Великая.

Он остался. Она тоже.

Это было неловко и просто одновременно. Как будто они оба давно не делали этого — не физически, а вообще: не позволяли себе быть близко с кем-то, кто не потребует объяснений. Она не спросила про

полпроцента. Он не спросил про Антона. Они просто были — два человека, которые на одну ночь перестали быть рыцарем и женщиной с умирающим братом. Просто мужчина и женщина. Уставшие. Живые.

Когда она сняла свитер, он увидел татуировку на её спине. Небольшую, тонкую, чёрной тушью — змея, кусающая себя за хвост. Но не кольцо, как обычно рисуют уробороса. Лента. Лента Мёбиуса — с изгибом, с перекрутом, с той единственной поверхностью, у которой нет ни начала, ни конца. Икар замер. Он знал эту форму. Он видел её в своих расчётах, в осциллографе, в зелёной точке, которая иногда не гасла. Он хотел сказать что-то, но не сказал. Просто провёл пальцем по изгибу — медленно, будто проверял, настоящая ли. Екатерина вздрогнула.

— Это давно, — сказала она. — Глупость.

Он промолчал. Но внутри у него что-то щёлкнуло — громко, как тогда, в театре, когда он перевернул бинокль.

А потом всё случилось. Неловко, тихо, с чужим дыханием и тёплыми руками. А после — Икар начал говорить.

Сначала шёпотом. Потом громче. Он лежал рядом, смотрел в потолок, и слова выходили сами — быстро, сбивчиво, с восторгом, который он не мог сдержать.

— Ты понимаешь, что это значит? — говорил он.

— Лента Мёбиуса — это не кольцо. У кольца две стороны, и ты всегда можешь сказать, где верх, а где низ. А у ленты — одна сторона. Одна. Ты идёшь по ней и не замечаешь, как оказываешься на другой стороне. Это как бесконечность, которая не повторяется. Как две восьмёрки, соединённые в одно. Как сирень с четырьмя лепестками. — Он повернулся к ней. — Екатерина, ты понимаешь? Ты — не просто женщина. Ты — доказательство. Ты — аксиома, которую я искал. Великая Екатерина предначертана вселенной. Я знал. Я чувствовал. Но теперь я вижу.

Она смотрела на него — растерянно и одновременно счастливо. Он говорил и говорил, перескакивая с теории на чувства, с формул на сирень, с Мёбиуса на маму. Он ликовал. Впервые за много лет он не спорил с Математиком, Физиком и Химиком — они все молчали и слушали его вместе с ней. Он говорил о том, что мир устроен по закону, и этот закон — она. О том, что полпроцента — это не ошибка, а место, где сходятся все линии. О том, что если бы он мог доказать это в суде, он бы принёс её татуировку как главный аргумент.

Екатерина не перебивала. Она просто лежала и слушала. И в какой-то момент поняла, что плачет. Не от горя. От того, что кто-то увидел в ней не «женщину с больным братом», а вселенную.

Утром она спала, отвернувшись к стене. Икар смот-

рел на её плечо, на родинку у лопатки, на тонкую линию змеи, исчезающую под одеялом. Ему хотелось остаться. Но он не знал, как это сказать. Он вообще не знал, как говорить о таких вещах. В его мире были аксиомы и доказательства. А здесь — только тишина и чужое дыхание.

Он тихо оделся. На кухне нашёл бумажку и ручку. Написал: «Спасибо. Я позвоню». Потом перечитал, скомкал и выбросил. Написал снова: «Ты — четырёхлепестковая сирень. И лента Мёбиуса. И аксиома». Оставил на столе. Рядом положил справку — на этот раз она была не нужна, но он не знал, куда её деть. И ушёл.

Она проснулась через час. Квартира была пуста. На столе — записка, рядом справка, которую он так и не забрал. Екатерина прочитала: «Ты — четырёхлепестковая сирень. И лента Мёбиуса. И аксиома». Улыбнулась — и тут же заплакала. Не от горя. От того, что кто-то увидел в ней не «женщину с больным братом», а что-то редкое. Хрупкое. Настоящее.

Она села на край дивана, держа записку в руках. Потом посмотрела на простыню. На ней остались следы ночи — тихие, никому не видимые, но она их знала. Он принёс справку. А у неё не было ничего, что можно было бы проверить. Ничего, кроме этой простыни. И она не собиралась её показывать.

Она никогда не делала этого раньше. Просто не случалось. А теперь случилось. С ним. С человеком, который принёс справку из клиники и выровнял чашки на миллиметр.

Она встала, сняла простыню, скатала её в комок — небрежно, будто прятала что-то, что нельзя оставлять на виду. Потом пошла в ванную. Там, в углу, за зеркалом, был маленький шкафчик. Она открыла дверцу — искала таз, но нашла стиральную машину. Маленькую, встроенную, с круглой дверцей и инструкцией, приклеенной скотчем к стене. Икар даже здесь всё выровнял: инструкция висела ровно, по линейке.

Екатерина открыла дверцу. Закинула простыню. Закрыла. Покрутила ручку — неуверенно, как человек, который делает это впервые в чужом доме. Машина загудела. Тихо, ровно, будто знала своё дело.

Она стояла и смотрела, как в круглом стекле крутится белое. И вдруг вспомнила, что обещала: «Ты позже поймёшь почему». Улыбнулась — тихо, уголком губ, как улыбаются собственной шутке, которую больше никто не услышит. Теперь все улики уничтожены. Навряд ли Икар поймёт. Ну и ничего. Пусть будет для него очередной загадкой. У него их и так много — полпроцента, зелёная точка, лента Мёбиуса. Одной больше, одной меньше.

Машина гудела. В круглом стекле крутилось белое

— и вместе с ним крутилось её обещание: не сказанное, не объяснённое, смытое вместе с ночью. Она уйдёт, а он останется с запиской, со справкой и с загадкой, которую так и не разгадает. И это было правильно. Пусть не понимает. Пусть думает, что она просто ушла. Так будет легче — и ему, и ей.

Потом она вернулась на кухню. Взяла записку. Спрятала в книгу — ту самую, которую взяла с его полки, даже не посмотрев на название. Справку не тронула. Пусть лежит.

За окном шёл дождь — тот самый, который уже перестал быть случайным и превратился в фон. Она думала об Антоне. О том, как он сидит у окна и считает ворон. О том, как спрашивает: «Катя, а завтра будет лучше?» О том, что она всегда отвечает «будет», хотя не знает.

И вдруг поняла: если она повторит это с Икаром — это будет предательство. Не перед ним. Перед собой. Перед Антоном. Потому что ночь с Икаром была побегом. Тёплым, тихим, неловким побегом от её настоящей жизни. А побег — это не жизнь. Её жизнь — это борьба. За жизнь брата. За каждый месяц, за каждую упаковку лекарств, за каждый звонок из клиники. Она не имеет права быть счастливой, пока Антон считает ворон у окна. Не потому, что счастье запрещено. А потому, что она не может позволить себе

роскошь побега, пока не закончилась война.

Это не его война. Это её война. И она должна её победить. Не потому, что она сильная. А потому, что кроме неё — некому.

Она надела свитер. Посмотрела на себя в зеркало — с распухшими глазами и следом от подушки на щеке. И вышла, тихо закрыв дверь.

Конверт

Клиньев пришёл в библиотеку на следующий день после того вечера — того самого, о котором Екатерина запретила себе вспоминать. Она ещё чувствовала на себе чужое тепло, ещё слышала, как Икар говорил: «Великая Екатерина предначертана вселенной», — и уже знала, что не ответит на его звонок. Не потому, что не хотела. Потому что не могла позволить себе хотеть.

Он подошёл к столу, поставил два бумажных стакана с кофе. Один — перед ней.

— Я на минуту, — сказал он. — И, кажется, по важному делу.

Она посмотрела на стакан, потом на него. Улыбнулась вежливо, но настороженно.

— Пётр Львович, я на работе.

— Я знаю. Поэтому и пришёл сюда, а не домой.

Он сел напротив, не спрашивая разрешения. Положил на стол тонкую папку. Не открыл. Просто поло-

жил — так, чтобы она видела: это не пустая бумага.

— Екатерина, — сказал он тихо, — я знаю про Антона.

Она замерла. В руках была книга — кажется, чей-то старый детектив с потрёпанным корешком. Пальцы сжали переплёт так, что побелели костяшки.

— Что вы знаете?

— Не диагноз. Я не врач. — Он чуть наклонил голову и рефлекторно почесал нос. — Я знаю счёт. Точнее, счета. Клиника, препараты, курс. Я знаю, что вы продали часть домашней библиотеки. Я знаю, что в прошлом месяце вы брали дополнительные смены. И что этого всё равно не хватает.

Она медленно поставила книгу на полку. Внутри что-то оборвалось — не от страха, а от того, что чужая аккуратность вдруг стала слишком точной.

— Откуда вы это взяли?

— Неважно. — Клиньев пожал плечами. — В клинике есть люди, которые устали молчать. У меня есть знакомые. Я юрист, Екатерина. Я умею читать документы. И умею замечать, когда человек держится из последних сил.

Он открыл папку. Внутри лежала копия счёта — не оригинал, просто лист с цифрами. Он не подвинул его к ней. Просто дал увидеть.

— Вот эта сумма. Каждый месяц. Это не считая до-

полнительных анализов и процедур.

Она отвернулась. В горле стало сухо.

— Вы пришли меня шантажировать?

— Нет. Шантаж — это когда требуют. Я предлагаю. Разница есть.

— И что вы предлагаете?

Клиньев отпил кофе. Поморщился — кофе был плохой, дешёвый; он знал, что она в кофе не разбирается, но сам всё равно морщился, будто это было частью ритуала.

— Я предлагаю помощь. У меня есть выход на фонд. Есть контакты по лекарствам — напрямую, дешевле. Законно, если оформить правильно. А я умею оформлять правильно.

Она посмотрела на него. В глазах — не благодарность, вопрос: а цена?

Клиньев будто услышал этот вопрос. Он поставил стакан. Выпрямился. И заговорил иначе — медленнее, будто читал по писаному, хотя никакой бумаги перед ним не было.

— Цена — не деньги. Цена — информация. Мне нужно понять, что происходит с Икаром Ольговичем. Он гений, я не спорю. Но он болен. Вы это видите. Я это вижу. И если он сорвётся, пострадают люди. Возможно, вы. Возможно, Антон. Я хочу этого избежать. Но для этого мне нужно знать, что он говорит. Что он

делает. Чем живёт.

— Вы хотите, чтобы я следила за ним.

— Я хочу, чтобы вы слушали. — Клиньев чуть подался вперёд. — Вы не предаёте его. Вы спасаете. И его, и своего брата. Предательство — это когда продают за деньги. А вы покупаете Антону жизнь. Это не предательство, Екатерина. Это цена. Взрослая цена. Вы уже взрослая. Вы устали. Я вижу, как вы устали.

Она хотела сказать «нет». Правда хотела. Но в голове снова и снова всплыло лицо Антона — как он сидит у окна, как считает ворон, как спрашивает, будет ли завтра. И ещё вспомнилось, как вчера в клинике ей сказали: «Если не начать курс вовремя, дальше будет сложнее». Не «невозможно». «Сложнее». Это слово было хуже любого диагноза.

А ещё вспомнилось, как крутилась простыня в его стиральной машине. Как она стояла и смотрела, как уничтожаются улики. Тогда она уже сделала выбор — не в пользу Икара. Тогда она уже предала. Первый раз. И этот, второй, будет легче. Потому что первый — самый трудный.

Она ненавидела себя за эту мысль. Но мысль была честной. А честность — единственное, что у неё осталось.

— Я не могу, — сказала она тихо. — Я не могу так.

— Можете, — ответил Клиньев без нажима. — Вы

уже торгуетесь внутри себя. Это нормально. Я не прошу ответа сейчас. Я прошу вас не закрывать дверь.

Он помолчал. Потом посмотрел на неё — прямо, не мигая, — и сказал:

— Знаете, что я понял за эти годы? Люди думают, что вера — это когда ты получаешь. Просишь — и тебе дают. А вера — это когда ты отдаёшь. Отдаёшь — и не ждёшь. Потому что если ждёшь — это уже не вера, это сделка. А сделка — это когда у тебя есть гарантии. У веры гарантий нет. Вот я и не жду. Я просто делаю.

Он перевёл дыхание. Голос стал тише, но от этого — только твёрже.

— В Писании сказано: не оскудеет рука дающего. И ещё сказано: что посеешь, то и пожнёшь. И ещё — самое важное, Екатерина: вернётся тебе многократно всё, что ты сделал в жизни этой. Не в следующей. В этой. Здесь. Сейчас. Потому что время — оно не резиновое. Оно как бумага. Сомнёшь — уже не разгладишь. А если разгладишь — всё равно складка останется. Вот я и разглаживаю. Где могу. Как могу.

Она слушала и не понимала, что её цепляет — то ли слова, то ли то, как он их говорит: без пафоса, без надрыва, будто читает вслух то, что давно выучил наизусть. Может быть, он верил в то, что говорил. Может быть, нет. Но в его голосе была такая уверенность, что спорить с ней казалось бессмысленным —

как спорить с дождём.

Клиньев видел перед собой рыцаря. Нелепого, упрямого, с планшетом вместо копья. И знал: такого легко обмануть. Достаточно сказать, что ветряная мельница — это дракон. Что битва нужна. Что без него — не справятся. Рыцари верят в это. Особенно те, кто давно не видел, чтобы их подвиг кто-то заметил. Но Екатерина не была рыцарем. Она была женщиной, у которой умирал брат. И с ней нужно было иначе.

— Я не мессия, — добавил он проще, будто снимая с себя последнюю торжественность. — Я не хороший. Просто иначе не умею.

Он достал из внутреннего кармана конверт. Плотный, белый, без надписи. Положил рядом с папкой. Не демонстративно. Просто положил.

— Здесь на первый курс. Не от организации. От меня лично. Это не аванс за информацию. Это помощь. Просто помощь. Потому что я вижу, как вам тяжело.

Екатерина смотрела на конверт. Она знала, что если возьмёт его — обратной дороги не будет. Или будет, но очень длинная. Клиньев не торопил. Он сидел тихо, будто давал ей время самой сделать шаг.

— Почему вы вообще этим занимаетесь? — спросила она. — Почему вам не всё равно?

Клиньев улыбнулся. Улыбка была усталая, почти

человеческая.

— Потому что я тоже когда-то стоял перед выбором. И выбрал неправильно. Теперь у меня есть шанс выбрать правильно. Спасти Чемоданова, помочь вам, вашему брату… — Он кивнул на конверт. — Возьмите. Завтра будет поздно. Завтра ему станет хуже. А послезавтра вы будете винить себя за то, что не взяли. И это будет длиться долго.

Он вышел. Дверь закрылась с мягким стуком. Кофе остыл. Конверт лежал на столе, и в тишине библиотеки он казался тяжелее всех книг на полках.

Екатерина ещё долго сидела, глядя на него. Потом медленно, будто через силу, протянула руку — и накрыла конверт ладонью. Не взяла. Просто накрыла. Как будто проверяла, настоящий ли.

Он был настоящим.

Она просидела так, наверное, полчаса. Библиотека пустела. За окном стемнело. Она встала, прошла к своему столу, достала из сумки фотографию — маленькую, помятую, с загнутым уголком. Антон на ней улыбался, щурился от солнца, держал в руке мороженое. Было видно, что он счастлив — по-настоящему, без оговорок.

Она смотрела на фотографию и думала: если бы он знал, что она собирается сделать, — что бы он сказал? Он бы, наверное, рассердился. Или нет. Он бы,

наверное, сказал: «Катя, не надо». Он всегда так говорил, когда она слишком много работала. «Катя, не надо. Отдохни». А она не отдыхала. Потому что если она остановится — всё рухнет.

Она вернула фотографию в сумку. Потом открыла конверт. Внутри были деньги — аккуратные, новенькие, будто их только что из банка. Она пересчитала. Потом пересчитала ещё раз. Потом закрыла конверт и положила его в сумку.

На следующий день она позвонила Клиньеву.

Дети Кислорода

Клиньев пришёл в гараж сам. Миниатюрный, коренастый, будто собранный в комок. В нём клокотала энергия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.